

ОСЕНЬ

1

Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, всё уже приготовлено, собрано, увязано, громоздятся в сенях мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от бензобака, и тогда начинается...

Тук-тук.

– Да-да!

– Здравствуй, Галь.

– Здравствуй, Миш.

– Как дела?

– Помаленьку

– Мужик где?

– В мастерской.

Тук-тук.

– Да-да!

- Здорово, Петрух.
- Здорово.
- Как дела?
- Помаленьку.
- Так-так.
- А что хотел?
- Да вот, в тайгу собираюсь – крышечку ищу.
- От бачка?
- От бачка.
- Была у меня крышечка, да Вовке отдал – он в тайгу собирается.

Проходишь по раскисшей от дождей деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь, как пёс, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трёх-литровой банкой, который скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо:

- Плюнь ты, Миха, на эту крышку. Дёрни-ка лучше браженции.

Дёрнешь браженции, и сразу оживёт и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой самоходкой, солнце поведёт золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой. И сама собой придёт в голову мысль:

«Возьму-ка я лучше бутылочку да зайду к Толяну».

– Молодец, что зашёл, – обрадуется Толян, – а то эти сборы уже в печёнках сидят. Обожди – рыбы принесу.

Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селёдкой, поговоришь о том, о чём, о делах, которые как ни старайся – всё на последний день останутся, глядь – давно уж темно и домой пора.

– Не забудь, – скажет Толян, поднимаясь, – фуфайку. В прошлый раз оставил.

– Вот голова дырявая. Столько дней в старой хожу.

Спокойной ночи.

Возьмёшь фуфайку под мышку и выйдешь в темноту.

Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьёшь чаю, наденешь сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дому, раздумывая, к кому бы

направиться. А рука нащупает в кармане круглый железный предмет – крышечку от бачка.

2

В ту пору весь год у меня проходил в заботах: то лес несёт – грех не поймать, то надо избушку срубить, то мужикам с сеном помочь. И я всегда с надеждой ждал осени, чтобы добраться до книг. Из города мне прислали их целую кучу, часть я отобрал в тайгу и уложил в большой, с железными уголками, ящик. Были там книги по философии, по истории, чужой, взятый под честное слово Бердяев, Марсель Пруст, Хлебников, Леонид Андреев и многое другое, в частности – прекрасно изданный сборник стихов Бухалова с автографом. В том же ящике лежало ещё кое-что из ценных, более прозаических вещей: пульки для тозовки, батарейки, приёмник. «Что ни говори, собрание своеобразное», – посмеивался я, гадая, вытерпит ли, к примеру, глянцевиный Набоков соседство запасных портянок, и с нетерпением представлял, как в какой-нибудь дождливый день с раскисшим снегом и неприятно тёплым ветром залягу на нары и нащупаю на отяжелевшей полке корешок, как потяну его, и при этом соскользнёт и свалится на меня соседняя книга, потом ещё одна или две, и как я не спеша выберу какую-нибудь одну, небольшую, в крепком переплёте, и открою первую страницу.

Осень шла хорошо. После дождей, на руку нам поднявших воду в Бахте, установилась ясная погода с задумчивым и студёным северным ветерком, с ночной коркой на лужах и застывшей грязью в ледяных стрелках. Утро отъезда выдалось холодным и таким туманным, что едва видны были камни на берегу. Долго подходила, тарахтя, невидимая самоходка, наконец, гуднула и отдала якорь, громыхнув цепью.

Прибежал Толян, сказал, когда ждать трактор. Лицо его было озабоченным – в последние дни всё не ладилось.

То пошёл дождь, едва начали смолить лодку, то выключили свет, когда собрались подварить отвалившийся ус к ограждению для мотора.

Пришёл трактор с санями, мы погрузили на них мешки, ящики, бочки и в последний раз прокатились по дороге.

При выезде из очередной ямки, по края заполненной булькающей жижей, чуть не упала бочка с бензином, которую Толян удержал, вскрикнув: «Куда – постой!»

И вот на берегу уже чистого от тумана Енисея стоят возле горы груза несколько человек, скулят привязанные собаки, а на воде чуть покачиваются две длинные, остроносые, чёрные, как головёшки, деревянные лодки. Вот и всё.

А дальше – лиловый дымок за мотором, длинная коса и поворот. А за поворотом минеральная синь бахтинской воды, рябь бегущей гальки под бортом и внезапно остановившийся Толян. Подъезжаешь к нему тихо и осторожно, чтобы не утопить сидящую по самые борта лодку, так тихо, что слышен отдельный стукоток каждого поршня, вопросительно киваешь, а он кричит:

– Да заглуши ты его! – И достаёт из рюкзака бутылку спирта. И появляется кружка, пахнувший пекарней белый хлеб, рыжая стерлядка в газете, и тепло из желудка расходится по всему телу, перерастая в ощущение ровной и долгожданной свободы. Вот дрогнули в глазах и окрепли с новой силой и прелестью кастрюлька с инструментами, коренастая фигура напарника, рыжая лиственница на берегу, и уже получили собаки по шершавой стерляжьей шкурке, и далеко по синей воде угоняет ветер кораблик скомканной газеты.

Ехать долго. Заночуешь где-нибудь у Ганькина порога. Утром встанешь, выйдешь из избушки: падает лист с берёзки, свистит рябчик. С угора, как на ладони, виден порог в чёрных точках камней. Река большая, вид у неё пустынный из-за широких паберег, покрытых жухлой заиндевелой травой.

С каждым поворотом сильнее уклон. Дно видно почти везде – вода очень прозрачная. В зависимости от глубины она имеет разный цвет. По широким мелким перекатам течёт кручёной дымчатой плёнкой, под порогами бродит по кругу чёрным стеклом. Поверхность глубокого плёса даже в пасмурный день зеркальная, но, свесившись за борт, сквозь зыбкий иллюминатор своего отражения увидишь в зелёной мгле плиту с трещиной и яркий обломок берёзы. Помню, поставили мы сеть в одиннадцатиметровой яме, в тени одного скалистого закутка, и, подъехав проверить, были поражены зрелищем: далеко внизу, чудно

искажённые зеленоватой водой, под круглыми, как монеты, берестяными поплавами, висел десяток в гамачном оцепенении замерших щучар.

Погода нас продолжала баловать. По утрам на галечные косы вылетали глухари и, неподвижно выгнув шеи, следили за приближающимися лодками. Встречались стаи уже торопящихся на юг уток: крохалей и гоголей. Образовавшийся за семь сезонов охоты Толян называл глухарей петрашевцами, а гоголей – Николаями Васильевичами.

Был хороший момент: Толян, пройдя, или, как говорят, «подняв», шивёры, лихо сшиб налетевшего Николая Васильевича, а я, идя сзади, так же лихо поймал его почти в сливе, едва не зацепив мотором мрачный камень с развевающейся зелёной бородой.

Надо заметить, что катание по порогам перестаёт быть захватывающим занятием, как только в лодке вместо чьей-нибудь любознательной племянницы оказывается тонна вашего собственного груза, который желательно довести до участка и не вывалить в какой-нибудь верхний слив Косого порога.

Подъезжая к порогу, издали видишь: там что-то происходит. Кажется, будто отчаянно машут впереди чем-то белым. Привстав из-за груды мешков, глядишь на приближающуюся ослепительную кашу и сбавляешь обороты. Лодка переваливается через волны, ходят борта, как живые. Вот налегаешь на румпель, сопротивляясь большому водовороту, вот огибаешь грозный хвост слива с высокими стоячими волнами и зависаешь под защитой треугольного камня в голубой газированной воде. Вот врезаешься в струю и медленно ползёшь по ней, пока, наконец, не оказываешься со всех сторон окружённым озверевшей водой. Вот мотор громко взрывает, хватив воздуха, лодку начинает сносить назад, но ты сбрасываешь газ и, вцепив винт в воду, снова, озираясь, двигаешься вверх, вот морщишься от резкого удара – откидывается мотор, и пока он, огрызаясь, ползёт по камню, начинает заваливаться нос, но всё обходится, и ты, надав газу, успеваешь выровнять лодку, а впереди уже видны две горбатые глыбы, клин упругой воды между ними и масляная гладь плёса.

По плёсу во всю ширь медленно плывет рыжая лиственничная хвоя. Плавно спускаются к каменистым берегам пёстрые осенние склоны, и вот место, где когда-то передо мной предстала картина, которая и в старости будет волновать меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далёкая нежно-жёлтая сопка...

Уже нос лодки поравнялся с верхними глыбами, как вдруг из общего рёва выпал звук работающего мотора, и стало тихо, хоть порог и грохотал во всю

мощь. Лихорадочно дёргая шнур, я успел заметить и запомнить, как лодка, теряя скорость, на долю мгновения застыла на месте и как дохнуло от этой заминки потусторонним холодком. В тот же миг меня понесло обратно; кажется, я успел только поднять мотор, и развернувшуюся лодку со всего маху шарахнуло серёдкой о камень. Помню, как она валится набок, как летят за борт веером инструменты вместе с кастрюлькой, как выпрыгивает бочка с бензином, бачок, мешки, и вот уже лодка, колыхаясь, сидит на камне с остатками груза, полная воды, а я вишу снаружи на борту и одной рукой отчерпываю воду уцелевшим ведром. Помню, как, упёршись ногами в камень, помогаю ей сняться, как запрыгиваю, как всё отчерпываю её этим новым и блестящим ведром и как выносит меня из порога навстречу Толяну. Толян одной рукой держит румпель, другой пытается остановить пляшущую у его борта бочку а сам кричит:

– Всё поймал, только сундук утонул!

Мне повезло. О более высокий камень лодку сломало бы пополам, а так она просто скинула лишнее и с моей помощью сошла на воду. Тогда я об этом не думал. Хотя уцелело всё: и оружие, и пила, и лыжи, и остальные ящики, а из хлеба получились отличные сухари, сладкие от пропитавшего их сахара, потеря сундука с книгами была для меня настоящим горем. Лучше бы какой-нибудь рис утонул, думал я и отчётливо видел не занятый обработкой пушнины вечер после неудачной охоты, когда все дела переделаны, сторожки для кулемок заготовлены на несколько лет вперед, всё надоело и хочется только одного – живого человеческого слова. Кроме потери книг, удручал ещё и сам позор приключившегося: вроде бы столько лет хожу по Бахте, и вдруг такая промашка. И хотя с виду я был не виноват (сам заглох, дармоед железный!), совесть моя была не чиста: слышал же я пятьюдесятью километрами ниже короткий перебой с горючим, но подкачал грушей и успокоился, вместо того чтобы потратить пять минут и вытащить из насоса плитку рыжей краски от бачка, доставившую столько хлопот ни в чём не повинному Толяну и отравившую мне всю осень.

Пережив такое начало охоты, я, в ожидании следующих бед, по семь раз всё отмерял, без конца стучал по деревянному и сыпал соль через левое плечо. Толян дал мне приёмник, батареек и ещё кое-что взамен утонувшего вместе с книгами. Предложил даже взять журналов, но я отказался: не судьба – так не судьба. Мы расстались на берегу у его последней избушки хмурым утром, когда повеяло не сильным, но каким-то сплошным и нешуточным холодом.

Пожелали друг другу удачи и пожали руки. Многого вкладывается в такое рукопожатие. Пока я отпихивался, заводил мотор, Толян стоял на берегу, а когда заработал винт, махнул рукой и пошёл в гору.

Шивера́ в устье Тынепа выглядела как серебристая грохочущая дорога с синим хребтом над колючим хвойным берегом. Я поднял её без приключений. Весь путь томили меня недобрые предчувствия: вдруг медведь разорил лабаз, избушка сгорела или экспедишник топор уволок. Добрался под вечер, ткнулся в красный плитняк берега, привязал лодку за камень и поднялся к избушке. Собаки вели себя спокойно. Дверь была открыта и подпёрта лопатой, как я и оставил её весной. Топор лежал под крышей рядом с тазом. Я зашёл внутрь. Всё было на месте: лампа, связка стёкол под потолком, чайник с трубкой бересты на ручке, ложка, блесна на гвоздике. Я заглянул на полку: коробка с лекарствами, пульки в пачках. Рядом с пулками лежал Пушкин: стихи, сказки, пьесы и «Повести Белкина» – всё в одном старом, без обложки, томе. Как я забыл о нём!

Наутро я взял чайник и пошёл по бруснику. Накрапывал дождь. Из-под тучи тянуло холодком. Я брел по-над Тынепом краем леса. Вниз к воде уходил крутой яр из красного сыпучего камня. В ясную погоду отсюда видна гора с косой вершиной. Я собирал в закопчённый чайник тёмную бруснику и вспоминал, как впервые сюда приехал и как обживал эту тайгу, как строил первую избушку и какое древнее и сильное чувство испытывал, глядя на обрастающий стенами квадрат сырого мха.

Кобель поднял с брусничника глухаря, усевшегося на лиственницу. Я добыл его, повесил на берёзку, вставив головой в развилку, а когда возвращался обратно, всё его плотное пепельное перо было в серебряных каплях.

В далёком детстве мы гостили с бабушкой в Кинешме у тётки, и я хорошо помню, как ранним утром по набережной над Волгой нёс мужик на руках, словно спящего ребёнка, огромного убитого глухаря... Прадед жил в Шуе и держал псовую охоту, бабушка много рассказывала о его собаках, о кожаных бродовых сапогах, о тетеревах с красными от ягоды клювами и заволжских брусничниках. Из всего этого ещё давным-давно и помимо моей воли возникли и остались со мною на всю жизнь окутанный дремучей тайной природы образ России и восхищение людьми, прикоснувшимися к этой тайне.

Помню, ещё в первый год охоты не покидало меня ощущение, что я чему-то служу, хоть сам и не знаю чему. Шагая по Бахте на лыжах, обвешанный снаряжением, с понягой, с топориком за поясом, с лопаткой в руке, я представлял себя рыцарем. В мороз на бровях, усах и бороде нарастал куржак и закрывал лицо, как забрало. Когда я спускался из избушки по воду, длинная пешня с плоским лезвием представлялась мне копьём, а заросшая льдом прорубь – веком огромного богатыря, которого я, подобно Руслану, будил уколами копья, до тех

пор пока не открывалось тёмное подрагивающее око, живой хрусталик которого я уносил с кусочком льда в обмёрзшем ведре...

Возвращаясь, я гадал, что бы подумал Пушкин, глядя из-за деревьев на мутный просвет Тынепа, на блестящую от дождя крышу избушки, на чайник брусники в моей руке.

Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду, как могу, служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла.

Дождь стихал. «Разъясняет, – говорил я сам с собой, таская верёвочной петлёй дрова из поленницы, – завтра утренник будет, поеду на Майгушашу, не забыть капканы – в ручье висят». Запалив костёр и присев возле него на ящик, я позвал Алтуса. Он вильнул хвостом, подбежал рысцей и бухнулся рядом. Я положил ладонь ему на голову:

– Ну что, Серый, отпустишь меня когда-нибудь о Енисее книжку написать?

* * *

А может быть, природа – самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми? Может быть, нам не хватает душевной щедрости на любовь к ней, и потому она часто видится нам равнодушной или враждебной? Она кажется нам наивной и бессмысленной, потому что, быть может, мы сами ищем смысла вовсе не там, где надо: всё стараемся чем-то от кого-то отличиться, и всё сердимся, что никак не выходит. Может, потому и презираем её: мол, как можно так повторяться из года в год – что сами стыдимся в себе вечного и гонимся за преходящим? Может, потому пугаемся, глядя, как она столько раз умирает, что к своей смерти относимся неправильно? И обижаемся на неё зря – тогда, когда забываем о главном: что она любит труд, терпение и не переносит жадности с верхоглядством. Что она, как дикая яблонька из сказки «Гуси-лебеди», говорит торопливому человеку:

– Хочешь получить от меня подарок – съешь сначала моего кислого яблочка...

Вот попробовал ты её кислого яблочка, и словно чудо-то произошло – уже не страшно, что иголки плывут, а тебя больше нет. Плывите, мои золотые, плывите, да напоминайте нашим детям: кто служит вечной красоте, не стыдится повторений.